

Мою бабушку звали Коли¹, но все её ласково называли Ази, что на зангезурском наречии означает »бабушка«. История этой зангезурской женщины необыкновенна, а маленький альбом с её фотографиями, в отличие от всех других семейных альбомов, хранится в отдельном ящике, рядом с моей кроватью. Когда я листаю его страницы и всматриваюсь в её строгое лицо, в мудрые и ласковые глаза, я ощущаю прилив вдохновения и любви, которыми даже с фотографии дышит моя бабушка.

Её судьба уникальна, как и она сама. Рождённая в трудное время, на стыке девятнадцатого и двадцатого столетий, она была воплощением мужества, красоты и терпения, столь свойственным жителям этого края, который не смог покорить ни один завоеватель.

К сожалению, мы с ней не так много общались, потому что жили в разных городах, за исключением моего раннего детства в Ереване, до переезда в Москву, куда она категорически отказалась перебираться, чтобы не покидать Армению. Её образ, хранимый во мне, — это, скорее, коллаж, составленный

¹ Коли — раскрывшийся кокон хлопка: имя, данное ей из-за белоснежного оттенка кожи, *арм.*

из моих воспоминаний и впечатлений, дополненный рассказами родителей и вкраплениями её собственных воспоминаний. Возможно, от этого он становится ярче и притягательнее, приобретая завораживающее ощущение полузагадки; впрочем, такой эффект она производила на всех окружающих...

До последних дней жизни, до конца 70-х годов двадцатого века, она носила национальную зангезурскую одежду, которую дополнял головной убор с серебряными монистами. Кроме того, она выделялась из толпы необыкновенным ростом и особой горделивой осанкой, воплощением достоинства, которое сохранила до девяноста лет.

Когда, будучи ещё совсем ребенком, я шла рядом с бабушкой по улице, то почти подсознательно замечала, как люди расступаются перед ней, выделяя особое пространство, которое требовало её присутствие и которое в эту минуту она разделяла со мной. Не помню, в каком возрасте я полноценно оценила физическую красоту этой женщины, столь отличающую её от ереванских красавиц. Настоящая дочь Зангезура: стройная, рыжеволосая, голубоглазая, с высокими скулами и тонкими благородными чертами лица. Она была воплощением магических тайн этих гор, порой произносимых её устами на известном только ей языке заклинания-молитвы. Одно из моих воспоминаний о ней, всплывающее из глубины детства, — это склонённое лицо над моей кроватью (я лежала тогда с высокой температурой), нащёптывание непонятных слов народного заговора и пахучий травяной чай, которым она меня отпаивала, после чего я быстро пошла на поправку...

Впрочем, этот период моей жизни, скорее, запечатлел её как мою добрую бабушку, ласково взирающую на меня с высоты своего роста, и то и дело угощающую каким-либо лакомством в виде петушка из жжёного сахара или шоколадки, которые она доставала из таинственного кармана, скрытого в складках её широченной юбки.

Когда мы уехали из Еревана, на какое-то время я потеряла бабушку из вида, но не связь с ней. Мы жили в Москве, к нам приезжало много родственников, в том числе папины и мамины сёстры, мои двоюродные братья и сёстры, с которыми я проводила каникулы на даче. Иногда у нас гостила мамина мама из Шулавера — полная противоположность папиной: малюсенькая и превесёлая, заполнявшая дом смехом и песнями под аккомпанемент дроби, искусно отбиваемой её ладонями на сиденье любого стула. Её приезды сопровождалась грузинскими гостинцами собственного приготовления — чурчхелами, сухофруктами и джонджоли, наполняющими дом пряными запахами Грузии.

Папина мама никогда не выезжала из Армении. Папа периодически навещал её, говорил с ней по телефону, порой передавая трубку мне, но бабушка была немногословна, она лишь приглашала меня в гости. После таких разговоров у меня появлялось желание узнать о ней как можно больше. И постепенно я собрала её историю, хотя некоторые детали до поры от меня скрывали, и я узнала их гораздо позже.

Бабушка была дочерью земского судьи, женой бека, матерью семерых детей, двое из них умерли от болезней ещё в детстве. Её засватали в тринадцать лет, и до шестнадцати она жила и воспитывалась в доме своего мужа, привыкая к укладу его жизни, пока в шестнадцать лет не сыграли свадьбу. Единственную романтическую историю, которую она поведала мне уже в мои тринадцать лет, — это её полудетское воспоминание того периода. Как-то они с дедушкой, который был старше неё на шесть лет, проболтали всю ночь до утра у потухающего камина, бросая в огонь огрызки съеденных — полмешка! — яблок, за что удостоились наутро ласково-осуждающего взгляда свекрови. Бабушка готова была провалиться сквозь землю от стыда. Дело в том, что она, рослая девочка, иногда стеснялась попросить добавку во время общей трапезы, и потому постоянно хотела есть...

Этот дом с камином был конфискован советской властью и отдан под школу. Дедушка принял участие в национальном движении за независимость Армении под руководством Гарегина Нжде¹, был начальником его арсенала. Но когда началось преследование национальных движений, Нжде предложил ему бежать за границу, в эмиграцию, дед наотрез отказался покинуть Зангезур, за что поплатился своей жизнью: был приговорен к расстрелу, но по просьбе местных жителей, очень любивших деда за справедливость и доброту, расстрел ему заменили избиванием плетьюми, после чего дедушка слёг и через полгода умер. Папе тогда был год.

Бабушка осталась одна, с пятью детьми, без мужа, без дома, жила у сестры. Притчей во языцех бытовала в Тех Гюхе история о том, как она, разгневанная, ворвалась в кабинет рабоче-крестьянского комиссара и потребовала оставить ей хотя бы один маленький продуктовый магазин из всей отобранной семейной собственности, чтобы она могла прокормить детей.

¹ Гарегин Нжде (Тер-Арутюнян, 1886–1955) выдающийся армянский политический и военный деятель, возглавивший борьбу за становление Армении и сохранение её территориальной целостности, в частности, Зангезура и Карабаха, благодаря чему были спасены интеллигенция и воинские силы этих краев.

Потрясённый храбростью и красотой жены врага народа комиссар согласился.

Никогда больше бабушка не выходила замуж, на её красивом посуровевшем лице с тех пор редко появлялась улыбка; никогда больше она не носила праздничных нарядов, сменив их на более сдержанные тона национальной одежды.

Чтобы дать возможность своим детям начать новую жизнь, через несколько лет бабушка уехала из Зангезура, в котором осталась только её старшая дочь, к тому времени вышедшая замуж. Папа был самым младшим в семье ребёнком, ему тогда исполнилось пять лет.

Семья обосновалась неподалеку от Еревана — там дети могли получить хорошее образование. К тому же деревня Двин Арташатского района располагалась в очень живописном месте, с цветущими виноградниками и садами, среди которых бабушка чувствовала себя более комфортно.

Началась новая жизнь. Постепенно семья адаптировалась к новой власти и новому времени. Два сына получили высшее образование, старший — красавец, гордость бабушки, стал директором школы. Вторая дочь вышла замуж, родила троих детей. Папа ходил в школу. Казалось, жизнь стала налаживаться, но грянуло новое горе, теперь уже охватившее не только её семью, но и всю страну — Великая Отечественная Война, которая унесла двоих её старших сыновей и мужа дочери.

Теперь мать и дочь вместе растили оставшихся без отцов четверых детей: папу и троих сирот. Неудивительно то особое трепетное отношение, которое я всегда ощущала со стороны бабушки и тёти — к папе, единственному оставшемуся в семье мужчине, носившему дедушкину древнюю фамилию и, повзрослев, всю жизнь чувствовавшего ответственность за разросшуюся впоследствии семью.

Из отрывочных эпизодов бабушкиной жизни у меня постепенно сложился романтический образ женщины, который манил к себе, притягивал, как магнит. И когда я стала чуть старше, в ответ на одно из её телефонных приглашений я попросила папу взять меня с собой. Следующим летом мы отправились к бабушке вместе, а потом я уже летала к ней сама.

Когда мы приехали к бабушке в Двин, я бросилась к ней на шею, словно мы никогда не расставались. Поразительно, какую власть имеет над нами сила первых детских впечатлений и голос крови! Бабушка ласково обняла меня и окинула одобряющим взглядом. Я выросла и была очень похожа на папу,

её сына, который жил так далеко от неё. Я почувствовала, что её особое отношение к папе распространяется и на меня, мои приезды к ней частично компенсировали папино отсутствие.

В Двинском доме бабушка была центром большой семьи. С ней жили её дочь, дочь её дочери с мужем и четырьмя детьми, а позже и с внуками. Тетин сын жил неподалеку со своей семьей: женой и тоже четырьмя детьми. Я долго не могла разобраться в сложной системе запутанных родственных отношений: из-за разницы в возрасте я какое-то время называла своих двоюродных сестёр и брата тётями и дядей, а своих племянников считала кузенами.

Бабушка, в свои далеко за 80 лет, обладая твёрдостью характера и ясным умом, дирижировала жизнью всего дома. Вставала она раньше всех и спозаранку готовила еду для всей семьи на весь день. Происходило это ни свет ни заря, поэтому никто из младших детей не заставлял её за этим занятием. Остальное время дня она молчаливо наблюдала за действиями своих питомцев, и одного её одобрительного или осуждающего взгляда было достаточно для наведения в доме порядка. Иногда моя тётя, будучи сама сильной женщиной, не соглашалась с ней по тому или иному вопросу, но каждый раз всё же уступала матери.

За обедом бабушка сидела во главе стола (я устраивалась сбоку, поближе к ней). Она мало разговаривала, больше слушая других, но зато, когда та или иная тема заинтересовывала её, она умела одной или двумя фразами обобщить застольное разногласие, часто подтверждая свою мысль народными пословицами и поговорками, которые знала в огромном количестве на армянском, русском и азербайджанском языках, которыми свободно владели многие в её время в Сюнике — этот исторический край объединяет и Зангезур, и Карабах. Бабушка говорила на красочном зангезурском диалекте армянского языка, который поначалу я понимала с трудом (дома у нас говорили на классическом армянском, с ереванским произношением), но постепенно я стала понимать его лучше, и до сих пор бабушкин диалект у меня ассоциируется с ней.

Одно из самых ярких двинских воспоминаний, связанных с бабушкой, — это процесс выпечки армянского хлеба, лаваша, который я наблюдала впервые, и в котором участвовали четыре поколения женщин нашей семьи.

Рано утром бабушка замешивала тесто в алюминиевых тазаках, где оно созревало какое-то время в ожидании дальнейших действий в подсобной комнате, там совершалась первая часть процедуры.

Пол комнаты был застелен чистыми простынями и устлан подушками, на которых сидели женщины во главе с бабушкой. По очереди тесто доставалось из таза в равных пропорциях и скатывалось в огромное количество колобков, покрывающих пол в комнате. В это время тётиня дочь, моя кузина, удалялась в дальний угол двора, где находился тонратун, дословно — «дом тонира»¹.

Внутри тонира разжигался костёр из сухого хвороста (предпочтительно — фруктовых деревьев, для аромата), который, затухая, накалял печь докрасна. Бабушка и тётя из подсобки перемещались к печке, в то время как моя кузина оставалась внутри комнаты, где продолжала раскатывать оставшееся тесто на колобки, которые, в свою очередь, её дочь то и дело подносила к тониру. Рядом с ним лежали другие подносы с полотенцами, куда впоследствии складывался готовый хлеб. Здесь бабушка раскатывала колобки на большие овальные лепешки, а тётя одну за другой ловко подкидывала их в воздухе, превращая в тонюсенькие, почти прозрачные огромные листы, которые она набрасывала на большую деревянную выпуклую формочку, покрытую белой тканью — дап², придающую хлебу-лепешке окончательную форму и размер. С дапа тётя с размаху нашлёпывала лепёшки на раскалённые стены тонира, и вскоре готовый пахучий хлеб снимался металлическим прутом с крюкообразным наконечником со стенок тонира и водворялся на пустые подносы. К середине дня они покрывались горками вкуснейших новоиспечённых лепёшек, на запах которых сбегались полакомиться дети. Я в жизни никогда не ела хлеба, вкуснее этого. Когда лепёшки остывали и высыхали, их заворачивали в белоснежные полотенца и хранили в особом шкафу. В таком виде они могли храниться долго, неделями. Стоило только вытащить сухую лепёшку и побрызгать её водой, как она оживала и готова была к употреблению. Хотя дети чаще любили грызть их сухими и таскали кусочки из заветного шкафа.

Процедура выпечки хлеба была трудоёмкой, поэтому его пекли редко и с запасом. За несколько лет моих летних наездов в Двин мне посчастливилось только пару раз наблюдать этот процесс от начала до конца.

После смерти бабушки и тёти мы переехали в Лос-Анджелес, а ко времени моего возвращения оттуда хлеб в доме уже не пекли.

Последнее лето, проведённое с бабушкой, наверное, было самым насыщенным впечатлениями. Жаль, что я не уделила ей тогда больше времени. Мне

¹ Тонир — печь на открытом воздухе, под навесом, в земляном углублении/

² Дап на оборотной стороне имеет резинку, куда вдеается кисть руки.

исполнилось тринадцать, и я находилась на грани между детством и юностью: то бегала с детьми по двору, то погружалась в свои собственные романтические мысли. Бабушка своим острым взглядом замечала детали этого переходного периода и то подзывала меня посидеть с ней на скамейке, гладила меня по голове, как ребёнка, доставая из кармана шоколадную конфетку, то рассказывала мне какой-нибудь небольшой случай из своей жизни (как тот, о дедушке и яблоках). Возможно, она рассказала мне эту историю, потому что мне исполнилось столько же лет, сколько и ей в том рассказе.

Бабушка была первым человеком, подарившим мне первое взрослое платье. В доме разнёсся слух о сверхмодных импортных кримпленовых сарафанах, поступивших в продажу в сельском универмаге. Мои две двоюродные племянницы были на несколько лет старше меня и считались уже девушками на выданье, поэтому они срочно обзавелись вышеупомянутыми сарафанами. Девушки красовались друг перед другом в обновках, одна в красном сарафане, другая в синем.

Бабушка бросила на меня оценивающий взгляд и объявила, что мы с ней вместе отправимся в магазин покупать сарафан и для меня тоже. Бабушка славилась справедливостью характера, но у меня было достаточно красивых детских платьев, и её поступок, думаю, объяснялся не столько желанием не обидеть ребёнка, сколько мудро поставленным диагнозом моему возрасту. Я была уже не ребёнком, и она это увидела первой.

В последний год своей жизни бабушка, хотя и оставалась в полном здравии, уже редко выходила на улицу. Её шествие по деревне было своеобразным событием и, как всегда, приковывало внимание односельчан. Как в раннем детстве, я шла рядом с ней, а люди уважительно останавливались, здороваясь с ней и уступая дорогу. Сарафан был куплен, несмотря на мои протесты, вызванные нежеланием вводить бабушку в траты, а также тем фактом, что даже самый маленький сарафан из имевшихся в наличии мне был велик. Позже его перешили, и я долго с любовью носила его, подгоняя по фигуре то длину подола, то плечики. В тот день я была счастлива, впервые ощутив себя взрослой.

Вскоре после этого события мне приоткрылась тайна, впустившая меня в мир бабушкиного наряда, который сам по себе мне казался почти живым, загадочным существом — национального костюма Зангезура. Мне казалось, он состоит из бесконечных слоёв ткани, которые, как капустные листья, окружали бабушку. Мой московский чемодан был всегда полон отрезами разноцветного сатина, батиста и атласа, посылавшимися родителями в подарок

бабушке. Из них шилась её таинственная одежда. Поскольку бабушка просыпалась очень рано, я никогда не видела, как она одевается и из чего состоит её наряд, пока один раз мы не заболтались с детьми до рассвета. Только я успела прилечь, как заметила, что бабушка проснулась и начала приводить себя в порядок. Из уважения к её стыдливости, которую она сохранила до этого возраста, я притворилась спящей и впервые увидела необыкновенное действие.

Одевалась она медленно, и вся процедура скорее напомнила мне торжественный ритуал, почти священнодействие, нежели простое совершение утреннего туалета современной женщины. Платье связывало её со всем тем, что было ей близко и дорого в родном краю, с его традициями, шедшими из глубины веков. Даже в Зангезуре к концу 70-х оставалась всего лишь небольшая горсточка женщин, носивших такую одежду.

Поверх светлой батистовой нижней рубашки бабушка надела длинное, до пят, широкое сатиновое платье тёмно-бордового цвета, которое собиралось на талии кушаком, образуя множество тех самых складок, не сковывающих походку, не говоря уже о стильности создаваемого эффекта. Поясом служил длинный кусок красного атласа, который бабушка аккуратно, несколько раз обернула вокруг талии, ловко заправив кончик вовнутрь.

После этого она присела на стул перед зеркалом и приступила к самой торжественной части процедуры — причёсыванию и собиранию головного убора. На это ушло больше времени, нежели на платье. Бабушка медленно расчесала уже лишь слегка отдающие рыжиной поседевшие длинные волосы, заплела их в тугие тонкие косички, которые собрала вместе и закрепила на затылке. Осторожно, почти как короной, закрыла их головным убором, называемым, как я узнала позже, хомбой. Спереди к нему были пришиты в ряд серебряные старинные монисты, украшающие лоб, а по бокам, как серьги, закрывающие уши, висели две цепочки из круглых серебряных узорчатых бусинок. Сверху на хомбу надевался чеканного серебра специальный обод, крепящийся сзади крючками. Он был очень красив, состоял из многоугольных серебряных бляшек с узорчатой гравировкой. Надев хомбу, бабушка свободно обмотала тонкий чёрный коттоновый шарф вокруг шеи (когда-то женщины им стыдливо прикрывали рот во время разговора со старшими, а во время весёлой болтовни с ровесниками шарф опускался, открывая белозубую улыбку).

Следующей деталью бабушкиного костюма был «архлук» — своеобразное стёганое пальто-халат, которое она надела поверх платья. Он был из синего

сатина, а манжеты и три глубоких разреза по бокам и спине оторочены бордовыми кантами. На манжетах тоже были неглубокие разрезы со вшитыми в уголки серебряными бусинками. Этот удивительный верхний наряд, благодаря своей стёганой, проложенной внутри ватой конструкции, носился зимой и летом, одинаково оберегая тело от зноя и холода. Это был обычный костюм. В свои юные годы бабушка носила архлух из бархата и платье из шёлка, перевязывая его серебряным поясом. Эти наряды остались висеть в шкафу в Тех Гюхе много лет назад, о них ещё помнит мой папа. Но тогда в её жизни был праздник, рядом любимый друг, жизнь полна юных надежд, а на щеках играл румянец. Кстати, белоснежную кожу и лёгкий румянец она сохранила до последних дней.

В завершении наряда бабушка аккуратно булавкой прикрепила надо лбом к хомбе тонкую чёрную шерстяную шаль, которая, как фата, по плечам и спине ниспадала вниз. После этого она встала, критически оглядела себя с головы до ног в зеркале, и, оставшись довольной, вышла из комнаты.

Через несколько дней после этой сцены я вернулась в Москву, а осенью бабушки не стало. Время было школьное, на похороны бабушки меня не взяли. К тому же решили не травмировать ребёнка. В последний путь бабушку везли большой группой родственников из Двина в Зангезур. Мой племянник, которого я всегда считала кузеном, был среди провожающих, он мне рассказал о том, как бабушку торжественно одевали в последний путь её подруги, старшие женщины Тех Гюха. Похоронили бабушку в полном облачении, с серебряными монистами и серебряным поясом, который она уже не носила. Когда бабушку положили в гроб, женщины с любовью привели в порядок каждую складочку её платья.

От бабушкиного костюма в семье остался только серебряный обод к хомбе, который она перед смертью в Двине подарила старшей правнучке, той самой, которая вместе с ней пекла хлеб. Годы спустя, когда я приехала из Лос-Анджелеса и собирала по родственникам фотографии для бабушкиного альбома, увидев моё трепетное отношение к памяти бабушки, она вместе с фотографией передала мне этот обод. Объяснила это тем, что у неё три дочери, и она не сможет среди них выбрать, кому передать бабушкину реликвию. «Ты была самой младшей, любимой бабушкиной внучкой, — сказала она, — к тому же у тебя одна дочь, и ты носишь бабушкину фамилию».

В память о бабушке сохранились в семьях наших близких родственников именные ковры, сотканые ею собственноручно давным-давно для каждого

из детей и старших внуков. Ко времени моего рождения она уже не ткала ковров, поэтому процесс их изготовления я не видела, но зато в Москве на даче у нас было одно из этих необычайно красивых творений, украшенное армянским орнаментом, в который по краям ковра буквами армянского алфавита был вплетен текст: «В дар моему сыну Дмитрию Лалабекяну». Этот вид ковров в Армении называют «карпетами», а в Зангезуре — «ямани», он не пушистый, но плотно вытканый из шерстяной пряжи и по фактуре напоминал грубый гобелен. Как я узнала позже из папиных рассказов, пряжу для ковров бабушка красила сама растительными красками.

К сожалению, этот ковёр у нас конфисковали на московской таможне перед эмиграцией, объяснив это тем, что он представляет собой большую художественно-историческую ценность. На наш вопрос, что они собираются с ним делать, таможенники ответили, что отправят его в музей Востока. Надо ли говорить, что в самолёте мы не могли сдерживать слёз, — слишком дорога была нам эта частица памяти о бабушке...

Я простилась с бабушкой гораздо позже, много лет спустя. Когда моему папе исполнилось в Лос-Анджелесе 85 лет, он попросил мою сестру и меня поехать с ним в Зангезур, куда я собиралась уже несколько лет, но каждый раз по той или иной причине поездка откладывалась.

Мы отправились в путешествие большой группой: я, папа, мама, моя сестра с двумя детьми, зятем и внуком сестры. В Ереване к нам присоединились и другие родственники: двоюродные сёстры, их дети (бабушкины правнуки) и родственники из Двина. Все двадцать человек разместились в микроавтобусе, и мы отправились в Зангезур. Дорога оказалась длинной. Ехали шесть часов, пару раз останавливаясь. Атмосфера в автобусе была весёлой и оживлённой. Я, обычно разговорчивая, на сей раз отмалчивалась, прислушиваясь к разговорам родственников и наблюдая виды из окна. Там один за другим сменялись горные армянские пейзажи — то зелёные, цветущие, то суровые и сдержанные. Никогда ещё я не заезжала так далеко вглубь Армении. По мере приближения к Зангезуру пейзажи начали приобретать необыкновенно яркие оттенки зелёного цвета — от ярко-салатового до изумрудного, усыпанного множественными яркими точками полевых цветов: красных маков, сиреневых колокольчиков, белых ромашек. Когда проехали скульптурный монумент, пограничную отметку Зангезурской земли, у меня неожиданно из глаз хлынули слёзы, которых, я надеюсь, никто не заметил. Вскорости миновали живописный Горис, столицу Зангезура, построенный по проекту

немецкого архитектора, и, наконец, доехали до Тех Гюха, точнее, до нового Тех Гюха, где похоронена бабушка, и сразу же отправились на её могилу. Я положила на неё букетик полевых цветов, которые нарвала неподалеку. Все надолго замолчали, каждый думал о своём.

Окружённая волшебной красотой своей земли, здесь покоилась моя бабушка, рядом с дедом, чей гроб перенесли сюда из старой деревни. Теперь они были, наконец, вместе, бабушка и дедушка, которого я никогда не знала. Я ушла оттуда последней. Оставшись одна, подошла к бабушкиному памятнику и прикоснулась к нему губами: «До свидания, бабушка...».

Новый Тех Гюх от старого отделяет ущелье, которое когда-то люди переходили пешком. Казалось, оно разграничивает две деревни во времени, отделяя двадцать первый век от всех предыдущих столетий, со всем тем, что в них осталось. Дом, в котором родился папа, уже заброшенное здание старой школы, ещё стояли на вершине холма напротив, в старом Тех Гюхе. Склон этого холма был изрезан множеством каменных пещер, где, по рассказам папы, некогда жили древние зангезурцы — наши предки...

А потом все родственники собрались в доме одной из дочерей моей тётки, оставшейся в Зангезуре. Во главе стола, за которым собралась всего лишь часть нашей большой семьи; с одной стороны сидел мой папа, с другой — две мои зангезурские сёстры. Пожилые женщины, с высокими скулами и обветренными лицами, отдалённо напоминающими бабушкино и моё собственное лицо. Они сидели рядом, стройные, с гордой осанкой зангезурских женщин, переживших на своём веку много бед и ещё — совсем недавно — Карабахскую войну. Сейчас они смеялись, радуясь тому, что мы собрались все вместе...